

ФЁДОР НЕСТЕРОВ

ЗАГАДКА НЕЗНАНИЯ

(Из диалога цивилизаций)

Из меморандума (20 февраля 1925 г.) министра иностранных дел Великобритании Остина Чемберлена:

“Завтра, может быть, Россия будет иметь решающее значение в континентальном равновесии. Сегодня же она нависла, как грозовая туча, над восточным горизонтом Европы – **угрожающая, не поддающаяся учёту и, прежде всего, обособленная** (выделено мной. – Ф. Н.)”¹.

Из выступления перед палатой общин (1 октября 1939 г.) военно-морского министра Великобритании Уинстона Черчилля:

“**Не могу предсказать вам, как будет действовать Россия. Россия – это загадка. Загадка, закутанная в пелену тайны и запрятанная в головоломку** (выделено мной. – Ф. Н.)...”²

Из мемуаров Гарольда Макмиллана** (приводимый отрывок относится к 1955 году, к тому времени, когда автор занимал пост министра иностранных дел Великобритании):

“...Я пытался проникнуть в тайну, которая окутывала тогда и продолжает, в известной степени, окутывать советскую политику поныне (выделено мной. – Ф. Н.). Я спрашивал себя, чего же Россия хочет на самом деле? Каковы подлинные мотивы всех её манёвров? Возобновление ли это всё той же экспансионистской политики, которую царская Россия вдохновенно проводила в течение большей части девятнадцатого столетия – к великой тревоге европейских держав? Возобладало ли опять прежнее побуждение, временно как будто угасшее в годы революции? ... Или это новый империалистический порыв? Или же, наконец, как многие тогда считали, это возврат к яростному прозелитизму Интернационального Коммунизма? Имелось множество возможных объяснений”².

О своём выборе между “возможными объяснениями” автор воспоминаний так и не дал знать читателю ни прямо, ни намёком. Похоже, весь отведённый ему срок главы дипломатического ведомства Макмиллан провёл в гамлетовских колебаниях между ними.

* Перевод знаменитого высказывания допускает множество вариантов. Поэтому привожу его и в оригинале: “I cannot forecast for you the action of Russia. It is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma...”

** Г. Макмиллан – депутат палаты общин с 1924. В 1945 министр авиации (в кабинете Черчилля), в 1954–1955 министр обороны, в 1955 – иностранных дел, в 1955–1957 – канцлер казначейства. После отставки сэра Энтони Идена избран лидером Консервативной партии и автоматически назначен королевой на премьерский пост.

Говорят, один факт — это *всего лишь* факт, но два факта — это уже *тенденция*! Если это так, мы получаем право на регистрацию тенденции довольно-таки экзотичной, а именно — на склонности *трёх(!)* британских государственных деятелей к **“агностицизму” в “русском вопросе”**. Спешить с обобщениями мы не будем, но полюбопытствуем, не обнаружится ли нечто подобное отмеченному выше феномену и по ту сторону Атлантики? Выявление аналогии за океаном послужит дополнительным подтверждением наличия тенденции *здесь*, в менталитете британского истеблишмента. Соединённые Штаты, что ни говорите, остаются во многих отношениях прямым продолжением своей матери-родины. Так вот что выявляется там:

В. Вильсон (президент США, 1913–1921) в 1918 г. направил в Россию даже не один, а два экспедиционных корпуса — во Владивосток и в Архангельск. Направивши же их, горько сетовал единственному его confidentу, полковнику М. Хаузу, “на свою полную неспособность разобраться в том, “как следует разумно вести себя в России”³.

...”Для него (для президента Ф. Д. Рузвельта, 1933–1945. — **Ф. Н.**) она (Россия. — **Ф. Н.**) вообще была *terra incognita*. Особенно Россия большевистская, сталинская. В чём он своим помощникам смиренно признавался: “Я не в состоянии, — говорил он, — отличить хорошего русского от плохого русского. Я смогу отличить хорошего француза от плохого француза. Я смогу отличить хорошего итальянца от плохого итальянца. Я смогу распознать хорошего грека, когда он передо мной. Но русского постичь не могу”⁴.

...Единожды в год Американский совет научных обществ даёт большой званый обед, и за общим столом встречаются представители научной, политической и прочих элит страны. Во время одного из таких застолий Г. Хэмфри* (вице-президент США, 1964–1968) поделился с сотрапезниками недавним опытом своего интеллектуального общения с советскими политическими руководителями**. Он гостил в Советском Союзе, принимал высоких советских гостей в Вашингтоне. Все протокольные “мероприятия”, вспоминал он, проходили гладко, да вот беда: стоило ему завязать с посланцами Кремля понастоящему умную беседу (не о погоде), как она очень скоро иссякала, подобно тоненькому ручейку, уходящему в песок. Причиной чему была вовсе не скованность русских, а его, вице-президента, “некомпетентность в вопросах русской истории”! “Впрочем, — заключил он своё неожиданное покаяние, — очень немногие из наших общественных деятелей знают хоть что-нибудь об этих краях...”⁵.

Три странных высказывания о России британских политиков дополняются тремя парадоксальными реакциями на Россию же со стороны американских государственных деятелей высшего ранга. Итак, теперь в нашем распоряжении *шесть* довольно-таки эксцентричных суждений о возможности постичь наше Отечество и наш народ, *шесть* суждений, проникнутых, очевидно, *общим умонастроением*. Тем самым, что я рискнул обозначить выше как своеобразный (очень своеобразный!) “агностицизм”. Но подходит ли к этим *шести*, если говорить не в шутку, ещё и иное обозначение — *тенденция* (без кавычек)? Ведь последнее слово уместно в качестве характеристики лишь тогда, когда наличествует более или менее *массовое* явление, а *шесть*, всего лишь *шесть*, пусть даже и очень любопытных “казусов” — это же кот наплакал! Именно на необходимую для тенденции массовость они никак не тянут. А потому определение “тенденция” к ним может быть приложено только при выполнении следующего условия: если будет показано, что эти *шесть* проявлений неверия

* Hubert Humphrey. Это имя нужно было бы передать на русском языке как Хьюберт Хамфри. Но законы транслитерации неисповедимы, а потому на кириллице оно чаще всего предстает как Губерт Хэмфри. Подчиняясь мнению большинства переводчиков (принцип “демократического централизма”), вынужден принять последнее написание.

** Тут стоит отметить одну тонкость. Американско-советские переговоры по вопросам конкретным велись, как правило, дипломатами — с привлечением, в случае, представителей других, помимо госдепа, заинтересованных ведомств. Вице-президент в таких переговорах не участвовал. Его задача состояла в другом, а именно — в том, чтобы в ходе личных контактов с примерно равными ему по рангу представителями Советского Союза создать, так сказать, “дружественную атмосферу”, которая благоприятствовала бы успешному ведению “переговорных процессов”.

в возможность познать Россию – всего лишь одна из форм умонастроения гораздо более распространённого. То есть выходящего за пределы того пространственного, временного и социального “ареала”, в котором они изначально были зафиксированы. Простите за педантизм, но уже проделанную выше фиксацию нелишне и подчеркнуть. Повторим же ещё раз: они были отмечены в **Великобритании** и в **Соединённых Штатах** (пространственный ареал), в их **истеблишменте** (социальный “ареал”) и в период **с двадцатых годов XX века по 1968 год** (временной “ареал”). Вопрос стоит, значит, так: обрелся ли диковинный феномен “агностицизма” только в указанных пределах? Если это так, то приведённые выше цитаты вовсе никакие не примеры, а всего лишь более или менее занятые исторические анекдоты. Или же его удаётся обнаружить также и вне первоначально очерченных границ – пространственных, социальных и временных?

Во втором случаеgnoseологическая ценность приведённых выдержек резко возрастает – они становятся предметом экспресс-анализа, имеющего целью выявление общей закономерности, которая, возможно, продолжает действовать **и ныне!** Смысл же существования истории как науки (именно как науки, так как она имеет и иные ипостаси, выполняет и иные функции) – смысл исторической науки как раз и сводится к постижению настоящего через прошлое.

Но вернёмся к застольным излияниям американского вице-президента. Его жалоба на свою собственную историческую некомпетентность (однако же касательно только русской истории) и распространение нелестного мнения о своей компетенции (касательно затронутого вопроса) на коллег по политической и общественной деятельности представляются – как в психологическом “контексте”, так и в исторической ретроспективе – в высшей степени странными.

Ну, где, спрашивается, можно было бы ещё встретить такого государственного, политического, общественного деятеля, который, без какого-либо нажима извне, вдруг взял и прилюдно облегчил душу признанием собственного “грязного невежества”, причём не в тех областях, где он имеет право на дилетантство, а именно в той области, что доверена его ведению? Это – впервые.

Но главное-то – в том, что Хэмфри никак не мог испытывать недостатка в американской литературе по русской истории. Было бы только желание читать...

Вторая половина 50-х и все 60-е годы прошлого века как раз отмечены крутым взлётом (если о крутизне судить по росту числа публикаций) западной советологии вообще, американской советологии в особенности. Советология включала в себя россику (*rossica*), а в последней русская история занимала далеко не последнее место. Однако же стремительное развитие советологии, взятое в целом, может быть понято, в свою уже очередь, лишь как одно из течений более широкого и мощного потока. И вот какого.

Советология

Обратимся к одному из предвыборных выступлений (1960) кандидата на должность президента Соединённых Штатов Джона Кеннеди:

“Промышленное производство [в СССР] растёт в три раза быстрее, чем у нас, ежегодные темпы составляют 9,5%... В 1958 г., например, Россия произвела в четыре раза больше станков, чем США...”

“Русские тратят в два раза больше, чем мы, на образование. Преподаватели хорошо оплачиваются. В классах на одного учителя приходится меньше учеников. Учебный план лучше... В результате у них скоро будет в три раза больше учёных, техников и инженеров, чем у нас. Они уже выпускают их больше, чем мы”⁶.

Но вот Кеннеди становится президентом (1961–1964) и свою предвыборную программу (не по примеру многих предшественников и не в пример многим преемникам) ... выполняет! Во всяком случае, в той её части, что относится к реформе системы образования в масштабе страны:

“... побудительной силой разнообразной деятельности администрации Кеннеди были достижения социализма. Образование и ещё раз образование, твердил он, ежегодно направляя конгрессу послания с многочисленными рекомендациями по его улучшению, каждое решительнее предшествующего. В трети всех законодательных предложений Дж. Кеннеди основное место занимали вопросы образования. “Наш прогресс как страны, — подчёркивал он, — не может быть быстрее, чем прогресс в образовании. Среди всех ресурсов на первом месте стоит интеллект”*. От этого и зависит мощь Соединённых Штатов”⁷.

Французский советолог Лавинь (Lavigne), бросив ретроспективный взгляд из середины семидесятых на конец пятидесятых, так определил исходную точку этого взлёта: “В США изучение русского языка ... в широких масштабах началось с 1958 г. Известие о запуске советского искусственного спутника Земли заставило американское правительство критически оценить систему подготовку научных кадров (у себя в стране. — Ф. Н.) и уделить больше внимания изучению достижений науки в СССР. В том же году конгресс США принял закон об образовании, направленный на улучшение подготовки в области теоретических дисциплин (в виду, нужно думать, имеются фундаментальные науки. — Ф. Н.) и исследований, имеющих, в первую очередь, военное значение. В соответствии с требованиями этого закона обращалось внимание на изучение иностранных языков, главным образом русского, с тем, чтобы “вооружить американскую молодёжь необходимыми знаниями для эффективной борьбы с советским вызовом”⁸. Передовым же отрядом в “борьбе с советским вызовом” по праву считал себя корпус советоведов. Питомцы университетов из “Лиги плюща” днём штурмовали русский язык, а вечером, нужно думать, дружно отправлялись в тир.

Модным стало изучение не только русского языка, но и истории России. О чём можно судить на основании следующих статистических данных: “В конце 50-х годов курсы по истории СССР были в планах 50% исторических факультетов, в 19870 г. — в 77% . 228 факультетов имеют ныне (1980 г. — Ф. Н.) специализацию по истории России до 1917 г. и 230 факультетов — по истории СССР после 1917 г.”⁹. Если за критерий интереса американской студенческой молодёжи к той или иной стране (и, соответственно, её готовности изучать эту страну) принять число исторических факультетов, дающих своим выпускникам учёную степень магистра, то на вершине рейтинга оказалась бы Великобритания (234) и, непосредственно за ней, Россия—СССР (228—230). Далее вниз: Германия (218), Франция (206), Китай (199), Древняя Греция (188), Древний Рим (185), Япония (178), Африка (128), Ближний Восток (104), Индия (65), история евреев (55), история Скандинавских стран (24)¹⁰.

Нашу страну изучали, конечно, не только в Соединённых Штатах, но именно американская советология занимала тогда в мировом научном сообществе неоспоримо ведущее положение. Во всяком случае, по числу публикаций. И европейские учёные этот факт с почтением признавали. Так, француз Алэн Безансон в предисловии к работе Марка Раева (Raeff), одного из столпов американской историографии России, писал: “Не будет преувеличением утверждать, что 80 процентов из всего того, что по российской тематике издаётся за пределами самой России, написано в Соединённых Штатах”¹¹.

Таким образом, вице-президент США уподобился, не ведая, наверное, о том, древнегреческому царю Танталу, который за тяжкую вину перед богами был осуждён на то, чтобы, стоя по колено в воде ручья, испытывать постоянную жажду (когда грешник наклонялся, чтобы воду зачерпнуть пригоршней, она от него убегала и ручей иссякал). Вице-президент, может быть, иной раз прикинул к величаво текущему перед ним потоку знаний о России (статьи, сборники статей, монографии, многочисленные труды, материалы семинаров, симпозиумов, прочих “форумов”), но почерпнуть из него хотя бы самую малую толику, годную для поддержания салонной беседы о прошлом России, он так и не смог.

Почему это так? Возможно, по той причине, что новый Тантал, в отличие от мифического персонажа, страдал не только и даже не столько от обуревавшей его жажды знаний, сколько и от произвольного отворачивания к тому ис-

* Sorensen T. Kennedy, p. 401-402.

точнику, который должен был утолить его жажду, а именно – к продукции советологии, этой в высшей степени специфической отрасли индустрии знаний. До раскрытия специфики отрасли было бы опрометчиво выносить суждение о научной ценности её суммарной продукции. “Я вам не скажу за всю Одессу – вся Одесса очень велика...” – некогда пел Марк Бернес. Вслед за ним и я пока не берусь говорить о советологии в целом – она слишком велика, чтобы можно было окинуть её одним взглядом. Пусть о ней сначала скажет А. Даллин (1924–2000), один из самых высоких авторитетов американской советологии.

Александр Даллин – сын Давида Даллина, видного меньшевика и, более того, ближайшего друга Ю. Мартова. По приказу Ленина Д. Даллин вместе с Мартовым был выслан из Советской России на знаменитом “пароходе философов” (1922), после чего он надолго обосновался во Франции. Александр родился в Париже, там же прошли его детство, отрочество и юность. Свою блестящую научную карьеру он сделал, однако же, уже в Соединённых Штатах. Там он в разное время занимал или одновременно совмещал должности профессора истории и политологии Стэнфордского университета, старшего научного сотрудника Гуверовского института войны, революции и мира, президента Международного совета по изучению СССР и стран Восточной Европы, консультанта правительства США, директора Русского института Колумбийского университета... Кому же, спрашивается, как не ему, судить было обо всей американской советологии в её совокупности? Ниже следует попытка законспектировать в одном абзаце содержание довольно пространной статьи А. Даллина (“Slavic Review”, № 3, 1973) под откровенным заголовком “Предвзятость и грубые ошибки в американских исследованиях Советского Союза” (“Bias and blunders in American studies on the USSR”). Статья, которая в своё время вызвала взрыв негодования среди коллег её автора, – правда, то, вестимо, глаза колет.

Статья открывается констатацией банального факта: в американской советологии “всегда наблюдалась и наблюдается некая далеко не безобидная дымка тенденциозности”. Ставится вопрос об её происхождении. Ответ (на мой взгляд, совершенно не удовлетворительный): эта тенденциозность порождена зависимостью научных центров от американского общественного мнения и, следовательно, от колебаний его “климата”, который, в свою очередь, подвержен изменениям в зависимости от перехода от напряжённости к разрядке (и в противоположном направлении) в области американско-советских отношений. К тому же советологи с самого начала своих изысканий заложили в самое их основание ряд некритично отобранных постулатов, а эти исходные их “гипотезы о Советском государстве, об его целях и об его политике”, будучи “страшно удалёнными от истины, по самой своей природе не способны обеспечить плодотворный и трезвый научный поиск”. Таким образом, советология страдает как от изменчивости политической погоды, так и от костности “комплекса неизменной предубеждённости, который приводит к тенденциозности в анализе советской политики и её направлений”. Очень силен и многообразен “синдром холодной войны”, проявляющий себя в широчайшем диапазоне явлений, начиная с мелочей и кончая важнейшими событиями. “Систематические неудачи, которые терпят американские исследователи при попытке понять и объяснить советскую действительность – в её прошлом, настоящем и будущем”, проистекают из ставшей традицией тенденции тщательного обходить молчанием все достижения Страны Советов. Всё советское рисуется одной краской – чёрной, и искажение советских реальностей сделалось у американских советологов нормой поведения. В конце-то концов, они вещают лишь то, что от них ожидают услышать. “В подсознании американцев глубоко укоренился “образ беспощадного, плетущего тайные козни коммунистического дьявола” – именно он и оказался тиражированным бесчисленное число раз на страницах советологических разработок. “И как бы ни был искренен и тщателен анализ, картина почти полностью совпадает с психологическим реквизитом “образа врага”¹².

Десять лет спустя (1982) Алэн Безансон (французский советолог) поставил под риторический вопрос эффективность деятельности всего международного экспертного сообщества советологов вкуче, а следовательно, и смысл его существования: “Кто знает, не имело ли в последние годы учёное непонимание (*la docte incomprehension*) бесчисленных экспертов (по “русско-

му вопросу”. — Ф. Н.) столь же пагубные последствия, как и наивное невежество той малой горстки людей, что служили советниками Рузвельту в Тегеране и Ялте?¹³

Как следует толковать оксюморон “учёное непонимание”?

Прежде всего, на ум приходит давнишнее наблюдение, сохранённое в записных книжках князя П. А. Вяземского: “Екатерина II... умела спрашивать и слушать. Можно научиться большому, говорила она, в беседе с невеждами, чем обращаясь к учёным. — Последние постыдились бы не ответить на вопрос о вещах, о которых даже не имеют никакого представления, и никогда не осмелились бы произнести три-четыре слова, столь удобных для нас, невежд: “я не знаю”¹⁴. Ну да, желание прикрыть пустоту фразами, охота говорить много и долго, когда сказать, по сути, нечего; и, напротив, упорное нежелание вымолвить всего лишь два-три слова “я не знаю”, когда они в высшей степени уместны и своевременны, — всё это “человеческое, слишком человеческое” наверняка присутствовало, конечно, и в советологии, но, наверное, не в большей всё же мере, чем в любой иной области научных изысканий.

Однако *учёное непонимание* экспертов-советологов питалось всё-таки далеко не только *учёным тщеславием*. Его источник кроется в том обстоятельстве, что советология родилась не “сама по себе” как плод случайного увлечения учёными умами “русским вопросом”. Нет, она была создана. Создана как политическое оружие. Или, если чуть более пространно, как генератор идей, представлений, образов, питавших собой *холодную* и, главное, *психологическую войну*.

Конечной целью последней провозглашалась “атомизация” противника. Не в том, правда, смысле, в каком были “атомизированы” Хиросима и Нагасаки. А вот в каком: “Атомизация или принудительная дезинтеграция — это расщепление (splitting) политической и социальной структуры вводимого в заблуждение и обречённого на уничтожение государства (a victimized state). Расщепление, проникающее настолько глубоко, что ткань национальной морали распадается и становится неспособной противостоять дальнейшему вторжению”¹⁵.

Решение поставленной так задачи как раз и возлагалось на советологический комплекс, включавший в себя до двухсот научных центров. Подходило ли наименование “научный центр” к учреждениям, занятым деятельностью такого рода? В одном смысле — да, в другом — едва ли, причем скорее нет, чем да.

К решению задач, поставленных психологической войной, относились, в самом деле, по-научному, привлекая к нему методiku и последние по дате достижения в области психологии, индивидуальной и социальной, антропологии, этнологии и пр., и пр. Именно в этом смысле — да: то были действительно научные центры, причём по ряду параметров передовые.

Вместе с тем *тот же* университетско-академический комплекс выполнял одновременно и другую функцию: он предоставлял правительственным учреждениям, правительству и президенту *экспертную помощь*. Успешное проведение экспертизы предполагает, как известно, вполне объективное или, иначе говоря, строго научное отношение эксперта к её предмету. Если такого отношения нет — нет и экспертизы как таковой. То есть акт-то об её проведении может быть и составлен, да цена ему... Откуда же у бойцов психологической войны могло появиться объективное отношение к их противнику? У них же мозги перестроены на бойцовский лад! Из нашего поля зрения не должно, однако, ускользнуть вот какое важное обстоятельство: далеко не все учёное сообщество в США и вообще на Западе было ангажировано на решение задач психологической и, шире, холодной войны, так что были советологи и советологи.

Однако всё же именно в психологической войне, а вовсе не в изменчивости настроений американской общественности следует, на мой взгляд, искать общую причину правильно подмеченных А. Даллиным явлений. А именно — фатального скатывания советологов “к тенденциозности в анализе советской политики и её направлений”, постепенного складывания того “комплекса неизменной предубежденности”, что очень скоро стал доминирующим во всей совокупной области их изысканий, и, наконец, выдвижения на первый план такого его зрелищного элемента, как “образ беспощадного, плетущего тайные козни коммунистического дьявола”. “Комплекс неизменной предубежденности”, составленный из небольшого числа элементов, простеньких идей и эмо-

ционально заряженных представлений, несколько десятилетий служил *большинству* советологов той “печкой, от которой всегда нужно танцевать”, а советологии в целом — каркасом, конструкцией из постулатов, принимавшихся без обсуждения, на веру как нечто само собой разумеющееся. И “как бы ни был искренен и тщателен анализ”, проведённый в рамках отдельного советологического исследования, он, столкнувшись с заданной ему до его начала “аксиоматикой”, терпел крушение, то есть завершался “учёным непониманием”.

В других научных дисциплинах “научное непонимание” обретается в пограничной области с непознанным — там, где свет знания только-только начинает брезжить, но учёные из-за боязни “потерять лицо” уже не смеют сказать “я ещё не знаю”, а потому и предпочитают говорить вместо того, чтобы в добрый час промолчать. Здесь же оно, “учёное непонимание” (почти синоним “профессорского скудоумия”), переместилось с окраины в самую сердцевину советологических изысканий, превратившись тем самым в смысловое ядро советологии в целом. Обрело ли оно в новом своём качестве “ядра” способность служить экспертному сообществу отправной операционной базой для выполнения им правительственных заказов? Риторический вопрос, как известно, не требует ответа, поскольку уже содержит его в себе. Зато красочная иллюстрация ему не повредит, и тут мне на память приходит старинный анекдот, сущий аксакал среди анекдотов, а потому и достойный, на мой взгляд, почётно наименования *притчи*:

“В славном штате Айова — славном, в первую очередь, выращиванием кукурузы и производством свинины — жил да поживал некто Джон, владелец небольшой, но доходной свиноводческой фермы. В своих питомцах души он не чаял. Особенно в тех молоденьких шустрых поросятках, коих тренировал для очередных соревнований в беге на короткие дистанции. Свинные бега в ближайшем городке, надо сказать, всегда проходят по ярмарочным дням с аншлагом: местные фермеры возлюбили этот аттракцион, стометровку для свиней, даже пуще петушиных боёв.

Воспитанники Джона уже три раза подряд приносили ему призы, и он, окрылённый их победами, стал подумывать о выведении новой породы свиней, самой скоростной в мире. Путь к книге Гиннеса вёл, по его разумению, через правильно подобранный рацион питания. Рацион же питания, составлявшийся для будущих рекордсменов, принципиально отличался от обычного (для простых свиней) наличием в нём спиртного. Ведь как производился искусственный подбор? На первый взгляд, проще простого: в дальний, от свинарника, конец двора ставилось корыто с варёной морковью, сдобренной щедрой порцией джина и/или виски, рома, водки... наконец, смеси из всевозможных ингредиентов. Затем ворота свинарника распахивались, и начинающие алкоголики торпедами неслись через двор к финишу. “Винеры” пополняли собой свиную элиту, тот генфонд, из которого со временем явится миру идеальная свинья, исключительная по своим скаковым качествам. “Лузеры” же после нескольких попыток — они им великодушно предоставлялись — шли на мясо.

Однако не всё так просто, насколько представляется на первый взгляд. Вопросом вопросов оставалась проблема оптимизации пойкила: из каких именно составляющих и в каких пропорциях готовить, простите за выражение, “коктейль”, творчески затем смешиваемый, в противность всем правилам хорошего тона, с обедом из овощей?

И вот однажды Джон попытался решить её чисто эмпирически. Отметив про себя, что в тот день гоночные поросята чавкали особенно сладко, Джон зажёгся вдруг нестерпимым любопытством: чем же он на этот раз так угодил молоденьким гурманам? И вот экспериментатор становится на колени перед корытом, раздвигает широкими плечами братьев своих меньших и, грудь прильнув к кормушке, делает глоток, а за первым второй, третий... Из полного упоения его вывел воззавший к нему откуда-то сверху глас, показавшийся ему, впрочем, удивительно знакомым. Да, то была она, его верная супруга, повторявшая, глотая слёзы: “Джонни! О, Джонни! Ты ведёшь себя совсем не так, как подобало бы джентльмену!”.

Советологи, взятые, так сказать “в сумме” как особая корпорация, тоже вели себя вовсе не так, как полагалось бы джентльменам от науки. Даже вдвойне не так. Во-первых, производимую ими интеллектуальную продукцию пропагандистского назначения они ни в коем случае не должны были бы потреблять сами – из-за вполне обоснованного опасения отравиться. Во-вторых, они не должны были подавать варёную морковь под водочным соусом на стол внешнеполитической элиты, включавшей, естественно, правительство и вообще всю президентскую рать. Одно дело – промывать мозги своим союзникам, советским диссидентам и собственным “человекам с улицы”. Совсем другое – заниматься промыванием мозгов у самих себя и, главное, у собственного начальства, которое в силу своего положения иногда бывает вынужденно принимать (с уже промытыми-то мозгами!) ответственные внешнеполитические решения.

Зарисовкой бедолаги, вставшего на четвереньки перед свиным корытом, мне хотелось бы всего лишь зримо представить ту характеристику американской советологии, которая следует, подчёркиваю, *не из моей личной оценки*, компетентность которой легко может быть поставлена под сомнение. Она, характеристика эта, заимствована мною из свидетельства двух бесспорных авторитетов в той области, о которой они взялись судить. Однако же, предложив читателю, так сказать, визуальную интерпретацию цитаты, то есть предложив передачу текста через образ (излюбленный, кстати, приём самих советологов), не могу не обратиться к нему же вот какого предупреждения. С суммарной оценкой советологии, с оценкой, данной не мною, но мною иллюстрированной, сам я согласен *не полностью*. В основном – да, согласен, но – со многими исключениями, которые, пожалуй, составляют особую тенденцию, которая противоборствует доминирующей.

Собственно, необходимая оговорка была уже сделана выше. Повторим же её для верности ещё раз. Под общим именем “советология” (*Studies on the USSR* или *Soviet studies*) в течение почти полувека выступали не только различные идейные течения, но и прямые антагонисты. Антагонисты в смысле ответа на принципиальный вопрос, встающий перед всяким исследователем: нужна ли ему объективная истина – “вся истина, только истина и ничего, кроме истины”? Или же ему надобна лишь такая удобная “истина” (или её часть), которая отвечает политическим целям исследователя? Первая опция характерна для подлинной науки, вторая – для *симулякра* науки, то есть для такого феномена, который выдаёт себя за науку, ею вовсе не являясь.

Итак, оговорка состоит в следующем. Панорама советологии, представленная в статье Даллина, соответствовала действительно “положению вещей”, пока речь в ней шла именно о *симулякре*; *симулякр* подавил *советологию-науку* числом публикаций, перевесил её в экспертном сообществе, возобладал над ней по степени влияния на СМИ. Всё это так. Но верно, однако, и то, что *советология-наука* (включая и зарубежную русистику – *Rossica*), пусть на “околице”, пусть на “обочине”, но всё-таки существовала! Причём нельзя сказать, что она всего лишь “влачила существование”. Вклад её в изучение нашей страны, безусловно, велик, а потому и мог бы послужить источником её “учёного понимания” для внешнеполитической элиты, скажем для определённости, в Соединённых Штатах. Мог бы, да ведь не послужил! Попробуем осмыслить странное воздержание от знакомства с ним на одном конкретном примере. Ими, примерами, “хоть пруд пруди”, но из-за нехватки “печатной площади” мне придётся всё же обойтись одним-единственным.

Перед нами две книги на одну и ту же тему: “Россия при старом режиме” (“*Russia Under the Old Regime*”, 1974) Ричарда Пайпса и упомянутая выше “Понять старый русский режим”* (1982) Марка Раева (*Raeff*). Кроме очевидной смысловой близости наименований, они ничем более не походят одна на другую. Ибо первая – *симулякр* научного исследования, вторая же – подлинное исследование.

* Мне довелось прочитать книгу во французском авторизованном переводе именно под таким заглавием: “*Comprendre l’Ancien regime russe (Etat et societe en Russie imperiale). Essai d’interpretation*”. Paris, 1982. В английском оригинале она значится как “*Understanding Imperial Russia*”.

Ричард Пайпс

С концепцией Пайпса “старого русского режима”, причём в самом кратком её изложении, удобно познакомиться в предисловии к его книге:

“Каждый, кто изучает политические системы незападных обществ, скоро обнаружит, что в них разграничительная линия между суверенитетом и собственностью либо вообще не существует, либо столь расплывчата, что теряет всякий смысл, и что отсутствие такого разграничения составляет главное отличие правления западного типа от незападного. Можно сказать, что наличие частной собственности как сферы, над которой государственная власть, как правило, не имеет юрисдикции (?!), есть фактор, отличающий западный политический опыт от всех прочих.

...Россия принадлежит *par excellence* к той категории государств, которые политическая и социологическая литература обычно определяет как “вотчинные” [patrimonial]. В таких государствах политическая власть мыслится и отправляется как продолжение права собственности, и властитель (властители) является одновременно и сувереном государства и его собственником. Трудности, с которыми сопряжено поддержание режима такого типа перед лицом постоянно множющихся контактов и соперничества с Западом, имеющим иную систему правления, породили в России состояние перманентного внутреннего напряжения, которое не удалось преодолеть и по сей день”¹⁶.

Итак, Россия, по Пайпсу, элемент двух множеств. Во-первых, она принадлежит множеству *всех вообще* “незападных обществ”, чьи политические системы разнятся от политических систем Запада отсутствием “разграничительной линии между суверенитетом и собственностью”. Во-вторых, множеству “той категории государств”, что обычно в научной литературе определяются как “вотчинные” [patrimonial]. Впрочем, остаётся неясным один момент. К последней категории она “принадлежит *par excellence*” – преимущественно или по преимуществу. Но как нужно этот оборот понимать? В том ли смысле, что “вотчинность” как некий комплекс свойств преобладает в ней над “невотчинностью” или “антивотчинностью”? Или же в том, что в ряду вотчинных государств Россия – самое вотчинное?

Как бы то ни было, второе множество (вотчинные государства) входит в первое (незападные государства) в качестве подмножества. По какому же признаку оно отличается от другого подмножества того же множества, то есть тех незападных государств, которые под категорию вотчинных не подпали? Единственно возможным ответом мне представляется вот какой: вотчинные государства выделяются на общем фоне невовотчинных политических систем незападного мира *высшей степенью отсутствия* той самой фатальной “разграничительной линии” (которая, впрочем, расплылась настолько, что “потеряла всякий смысл”), то в вотчинных монархиях – от неё уже нет ни тени, ни намёка, ни воспоминания. А как исчисляется *степень отсутствия*? Нужно думать, по известной из бессмертной комедии Фонвизина формуле. “Нулижды нуль – нуль”, но это уже не просто тривиальный ноль, а “нуль в квадрате”. Почему бы и далее произведению нулей (“нулижды, нулижды, нулижды...”) не расти по экспоненте?

На какую же ступень (степень) “отсутствия присутствия” поднята Россия в концепции Пайпса? Какое место в ряду вотчинных государств, выстроенных по тому же ранжиру “отсутствия”, она занимает? Тут уже требуются конкретные исторические сопоставления – её с другими элементами “вовотчинного подмножества”. Кстати, сколько их?

Пайпс, помимо России, называет только два:

“В своей крайней форме, “султанизм”, – пишет он, – она (вовотчинная власть суверена. – **Ф. Н.**) предполагает собственность (государя. – **Ф. Н.**) на всю землю и полное господство над населением”¹⁷.

И чуть ниже даётся описание этой “крайней формы”:

“В использовании термина “вотчинный” для обозначения режима, при котором право суверенитета и право собственности сливаются до такой степени, что делаются неотличимыми друг от друга, и где политическая власть отправляется таким же образом, как экономическая, есть значительные преимущества... В вотчинном государстве нет ни официальных ограничений политической власти, ни законопроятия, ни личных свобод.

...Классические примеры вотчинных режимов можно встретить среди эллинистических государств, возникших вслед за распадом империи Александра Великого, таких как Египет Птолемеев (305–30 гг. до н. э.) или государство Атталидов в Пергаме ок. 283–133 гг. до н. э.). В этих царствах, основанных завоевателями-македонянами, правитель держал в руках всё или почти всё производительное богатство страны. В частности, он владел всей обрабатываемой землёй...”¹⁸.

Выходит, эллинистические государства, Османская империя да ещё Россия составляют замкнутый круг, закрытый “клуб” “вотчинных государств”. Первые являют собой “классические примеры” оных, вторая – их “крайнюю форму”, ну, а Россия как была, так, главное, и *осталась* – ко времени выхода в свет “России при старом режиме” – вотчинной державой “*par excellence*”: “Термином “вотчинный строй” лучше всего определяется тип режима, сложившегося в России между XII и XVII вв. *и сохраняющегося* – с перерывами и кое-какими видоизменениями – *до сего времени* (sic! Жирный курсив – мой. – Ф. Н.)”¹⁹.

“До сего времени!” То есть до семидесятых – восьмидесятых годов XX века* – до самого кануна “перестройки”. К тому времени Османская империя, не говоря уже об эллинистических государствах, уже давным-давно была достоянием истории, а прочие незападные “политические системы” в большей или меньшей степени успели привести себя в соответствие со стандартами западного парламентаризма. Единственным реликтом “вотчинного строя” оставался, стало быть, Советский Союз, воспринявший этот строй от царской России.

Ну, а царская-то Россия восприняла его – от кого? Македонская фаланга на Среднерусскую равнину вроде бы вообще не заходила. *И всего менее* (приходится всё же как-то приравниваться к логике “степеней отсутствия”) заходила она в указанный промежуток “между XII и XVII вв.” Не могла же Россия открыть, изобрести, создать что-либо сама – тем более собственный социально-политический режим – без чьего-либо внешнего руководства или хотя бы посредничества? Пайпс попытался было преодолеть возникшее перед ним препятствие на пути выведения “старого режима” (социально-политического строя) прямо из той природной среды, в коей он возник: “... можно было бы ожидать, что Россия в ранний период своей истории произведёт нечто сродни режимам “деспотического” или “азиатского” типа”²⁰. Однако, поразмыслив немного, махнул на свой первоначальный замысел рукой: “Логика обстоятельность и в самом деле толкала Россию в этом направлении, однако в силу ряда причин её политическое развитие пошло по несколько иному пути. Режимы типа “восточной деспотии” появлялись, как правило, не в ответ на насущную военную необходимость, а из потребности в эффективном центральном управлении, могущем организовать сбор и распределение воды для ирригации. Так возник строй, который Карл Виттфогель называет “агро-деспотией”...”²¹. Отсутствие в пределах Среднерусской равнины даже и следов ирригационной системы, сколь-либо подобной тем, что в незапамятные времена были сооружены в долинах Нила, Евфрата и Тигра, Инда и Ганга, Сырдарьи и Амударьи, Хуанхэ и Янцзы, – это отсутствие (причём опять-таки в высшей степени), по-видимому, и побудило американского советолога изъять Россию из разряда “восточных деспотий”, чтобы причислить её к категории “вотчинных государств”. Различие между теми и другими, пусть оно и будет тоньше волоса, но всё же, нужно думать, имеется.

* Напомню: первое издание “России при старом режиме” относится к 1974-му, а её первый русский перевод – к 1980 году.

Несмотря на явную лакуну в толковании “Генезиса вотчинного государства в России” (это название второй главы), книга в целом имела огромный успех – сначала у американской внешнеполитической элиты, потом и за её пределами. О степени этого успеха можно судить по следующему обстоятельству. Список научных трудов Р. Пайпса, изданных до 1974 года, достаточно скромнен – он включает в себя три монографии, едва ли замеченные за пределами круга его коллег по Гарвардскому университету, Но вот из-под печатного пресса выходит в свет четвёртая – “Россия при старом режиме”, и для её автора бьёт “звёздный час”.

В 1976 г. тогдашний директор ЦРУ Джордж Буш-старший (президент США, 1989–1993) пригласил Пайпса возглавить так называемую “Команду Б” (Team B), набранную из наиболее маститых советологов и русистов по самым престижным университетам страны, а также из многозвёздных генералов в отставке. Одновременно с ней работала “Команда А”, составленная исключительно из штатных аналитиков ЦРУ. Каждая из двух команд независимо от другой готовила свой доклад на одну и ту же тему: по оценке угроз, исходящих от Советского Союза для Америки и всего “свободного мира”. Цель параллелизма в работе – сравнение двух докладов, а цель сравнения – достижение полной объективности в анализе и в выводах. Пайпс, таким образом, был поставлен в положение арбитра и гуру над группой наиболее авторитетных экспертов. Парадоксальность ситуации заключалась в том, что каждый из аскалов, в свою уже очередь, имел основание смотреть на лидера точно так же, *сверху вниз*, – как на “молодого человека” (Ричарду было тогда “всего” 51 год, родился он в 1923 г.), чуть ли не на “новичка” в науке.

Р. Рейган (40-й президент США, 1981–1988) вводит Р. Пайпса в Совет национальной безопасности. В составе этой властной структуры автор “России при старом режиме” возглавляет бюро по делам Советского Союза и Восточной Европы, то есть становится ближайшим советником президента по вопросам американо-советских отношений и, тем самым, непосредственным “делателем” американской политики *versus* СССР. Именно тогда (1981) Пайпс публично высказывается: “Нет и не может быть никакой другой альтернативы кроме войны с Советским Союзом, если Советский Союз не согласится на капитуляцию”. “Доктрина Рейгана” – его рук дело. Или, во всяком случае, – его рук *par excellence*.

Чем же можно объяснить столь крутой и столь стремительный взлёт? Не русофобией ли, которая если и не на каждой странице его труда бьёт грязевым фонтаном, то на каждой сочится между строк? Да, и ею тоже, но, конечно, не только ею. Чего-чего, а русофобских поделок на советологическом рынке образов и идей всегда хватало, даже с избытком. Другое дело, что товар, несмотря на прекрасно поставленную рекламу, никак не мог, хотя бы всего лишь с минимальными шансами на успех, претендовать на “первую свежесть”. Да и как требовать оригинальности или “креативности” от сочинений, производство коих поставлено на конвейер? От римейков здесь никуда не уйти. Всё это так, и всё же душа потребителя тосковала по *новому слову* – именно свежему, именно оригинальному, именно раскрывающему широкие горизонты перед дальнейшими исследованиями.

Тосковала, ждала-ждала и наконец-то дождалась. Вот оно, это *новое слово*, запечатлённое в предисловии к “России при старом режиме”: “В отличие от большинства историков, ищущих корни **тоталитаризма XX века** в западных идеях, **я ищу их в российских институтах** (выделено мной. – Ф. Н.)”²². **NB!!!** Речь-то идёт не только о “сталинизме”, **но именно – обо всех видах тоталитаризма XX века вообще, включая, само собой, и тоталитаризм западный!** У всех его разновидностей обнаружился наконец-то общий корень, и, что самое сенсационное, он оказался **русским!** Ну как тут было не испытать экстатического восторга перед великим открытием и не поставить его автора над большинством историков, близоруко искавших корень тоталитаризма только у себя под носом или даже у себя в собственной голове – в западных идеях?

Теория тоталитаризма versus теория фашизма

Отметим одно знаковое событие – момент зарождения теории тоталитаризма. “Вначале было слово”, но – вовсе не термин. Слово “тоталитаризм” появилось в политическом лексиконе итальянского языка в начале 20-х годов

XX века, и послужило оно противникам только что тогда установленного в Италии фашистского режима для выражения всего того, что они о нём думали. Думали они о нём всё же разное, несмотря на несомненную общность эмоционального восприятия отражённой в слове реалии. Затем фашисты перехватили “словцо” на лету, словно брошенную противником гранату, и, начав его апологетическим относительно их режима содержанием, с не меньшим успехом применяли его в дальнейшем, но – в качестве боеприпаса для уже своей пропаганды. Впервые к семантическому трюку прибегнул в 1926 году Джованни Джантале, видный итальянский философ (и министр образования в правительстве Муссолини). Затем (1931) сам дуче нарёк возглавляемое им государство “тоталитарным” (*stato totalitario*). В 1936 г. слово мигрировало в нацистскую Германию, где, впрочем, так и не успело достаточно глубоко укорениться: национал-социалисты так и не пожелали называть себя ни “тоталитаристами”, ни “фашистами”, то есть так, как их со всех сторон называли, причём в самом худом смысле этого слова.

Итак, имелось избыточно многозначное слово, но не было термина. Первый шаг к избавлению слова от обременительных коннотаций и, следовательно, к превращению его в научное понятие был сделан президентом Соединённых Штатов Гарри Трумэном 13 мая 1947 года. Тогда он произнёс эпохальную фразу – фразу, которая послужила как исходной точкой, так и директивной для блока исследований по проблемам тоталитаризма на протяжении всей эпохи “холодной войны”, даже и послевоенного периода, вплоть до наших дней. Эта, скажем прямо, *сакральная* формула прозвучала так: “Нет никакой разницы между тоталитарными государствами. Мне всё равно, как вы их называете: нацистскими, коммунистическими или фашистскими (курсив всюду мой. – Ф. Н.)”.

Почему она сакральна? Да по той причине, что содержит в себе или, точнее, представляет собой двойное табу, так поныне и не преодоленное разработчиками теории тоталитаризма.

Первый запрет носит характер скорее странного ограничения области исследования “нацистскими, коммунистическими или фашистскими” государствами. Речь идёт, конечно, всего лишь о сравнении “коммунистических государств” (читай: Советского Союза) всего лишь с *одним* нацистским государством да ещё с *одним* фашистским. Но ведь круг тоталитарных государств, а также государств, “очень похожих” на тоталитарные (“авторитарные” и “диктаторские” режимы), гораздо шире! Возьмём для определённости только Европу и только в период между двумя мировыми войнами (1919–1939). Какие европейские страны в один из моментов двадцатилетнего временного отрезка отвернулись от демократии парламентского типа? И какие – сохранили верность принципам либеральной демократии? Перечисляя первые, упомянем в скобках имя национального вождя, за которым страна двинулась в тоталитарное будущее, а также дату судьбоносного поворота (синонимичного в данном историческом контексте с “переворотом”).

К первому разряду относятся: Эстония (Пятс, 1934), Латвия (Ульманис, 1934), Литва (Сметона, 1926), Польша (Пилсудский, 1926), Германия (Гитлер, 1933), Венгрия (Хорти, 1920), Румыния (Антонеску, 1938), Болгария (1923, 1934), Югославия (король Александр, 1929), Греция (1936), Австрия (Дольфус, 1933), Италия (Муссолини, 1922), Испания (Франко, 1936–1939), Португалия (Салазар, 1926). Всего – *четырнадцать* (!) стран, занимавших в совокупности едва ли менее двух третей от общей площади Европейского континента (не считая, понятно, европейской части Советского Союза). Волна тоталитарных и так называемых *авторитарных* переворотов, прокатившаяся по Европейскому континенту от Эстонии до Португалии и Греции, однако же, миновала Скандинавию и страны Бенилюкса, Францию и Швейцарию, а также (это уже особая категория) – Лихтенштейн, Монако и Андорру. Что касается Ватикана и Албании, то их государственность не подпадает ни под рубрику “тоталитарные государства”, ни под противоположную – “не-тоталитарные”, чем ставит под большой знак вопроса правомерность дихотомии в целом.

Как ни считать, Европа в *большой своей части* соблазну тоталитаризма всё-таки поддавалась. И учёт исторического опыта этой большей части был бы, конечно, бесценен для построения общей теории тоталитаризма. Однако тоталитарное прошлое признаётся таковым только за Германией и Италией, го-

ворить же об остальных элементах упомянутого множества как о “тоталитарных режимах” как-то не принято. Не только в прессе, но, прежде всего, в сочинениях авторов и видных сторонников теории тоталитаризма — К. Фридриха, З. Бжезинского, Р. Конквеста, Х. Арендт, Дж. Талмона, Х. Линца, фон Мизеса, Э. Фаула, Э. Фигелина... Р. Пайпс в позднейшей работе “Россия при большевистском режиме 1919–1924” (1993) повторил за своими предшественниками их общий тезис: и Германия при Гитлере, и Италия при Муссолини, и Советский Союз при Сталине представляли собой тоталитарные режимы, которых объединяло отрицание демократии и прав человека. Но о том, что собой представляла, например, близкая ему Польша при Пилсудском или, точнее, после произведённого И. Пилсудским военного переворота в мае 1926 г., не сказано ни слова. А ведь если бы оно было молвлено — глядишь, элитарный “клуб трёх” открыл бы свои двери ещё перед одним членом.

Второй запрет куда более важен и суров: “Нет никакой разницы между тоталитарными государствами...” Как это — “нет никакой разницы”? Да между любыми двумя государствами — тоталитарны ли они, нетоталитарны или “очень похожи” на тех или на других — при честном сопоставлении “разниц” набирается столько, сколько угодно и даже больше. Какие из них существенны, а какие поверхностны — это уже другой вопрос. Хотя, конечно, и перво-степенной значимости.

Не в том дело, что Гарри Трумэн что-то когда-то сказал: язык у президентов, как и у простых смертных, без костей. Дело в том, что президентский вздор был принят нарождавшимся тогда (1947) советологическим сообществом как директива (а директивы не обсуждаются — они выполняются). И ещё — в том, что ту же заповедь (“нет” — это ведь заповедь, запрет) вся советология в целом свято блюла на всех этапах своего жизненного пути. А также — в том, что он, этот вздор, вроде бы даже и забытый, тем не менее остаётся и поныне как догмой (утверждением, принимаемым на веру и не подлежащим, следовательно, ни сомнению, ни обсуждению), так и руководством к действию. И это странно: автор речения никогда не был канонизирован, само оно нигде не прописано ни в камне, ни в бронзе, а тем не менее ему неукоснительно следуют, и оно действует! Возьмите современную русистику. Аналогий Советского Союза с гитлеровской Германией — “несть числа”, а вот попыток найти между ними хотя бы одно сущностное различие — “несть и следов”.

Но ведь это же просто неприлично! Сравнительный (компаративный) метод остаётся самим собой, то есть методом *научного познания*, лишь до тех пор и постольку, пока и поскольку продолжает, подобно челноку в ткацком станке, снова “туда-сюда” между сходством и различием двух (или более) сопоставляемых объектов. Но стоит программу его действия ограничить поиском лишь сходства или лишь различия, он превращается в незаменимый инструмент манипуляции сознанием, то есть мошенничества. Так в каком же качестве компаративистика используется теорией тоталитаризма?

И теория эта имела странную, на первый взгляд, судьбу: “После неожиданного краха коммунизма в Европе произошло столь же неожиданное возрождение теории тоталитаризма, причём общая допустимость сравнения коммунизма и национал-социализма теперь уже почти не оспаривается”²³.

Под “крахом коммунизма” автор приводимого высказывания, видимо, подразумевает разрушение Советского Союза и “лагеря социализма”, а также изгнание компартий с европейской авансцены и приведение их если не к нулю, то к положению политических маргиналов. Если в виду имеется именно это, то с наблюдением видного немецкого политолога и историка фашизма нельзя не согласиться. Но тогда возникает вопрос: зачем же точить нож (теорию тоталитаризма) на уже мёртвого врага? Занятие, согласитесь, и впрямь неожиданное.

Предположительный и очень упрощённый ответ мне представляется таковым. Запад истинным своим врагом считал и, главное, *считает* Россию*. Цар-

* Столь категоричное суждение я менее всего хочу выдать за аксиому. Нет, это не аксиома, даже не постулат, а догадка, которая, как и всякая догадка, питается, конечно, рядом эмпирических наблюдений, но тем не менее нуждается либо в доказательстве, либо в опровержении. Это, иначе говоря, мнение. Автор эссе, имеет ли он право на высказывание собственного мнения, пусть даже и далеко не бесспорного?

скую ли, советскую ли – любую, вне зависимости от её временного эпитета. Советский Союз, одно из её перевоплощений, низвергнут, и Запад шумно празднует победу. Однако победа, низвержение ненавистного врага – это прекрасно, но этого мало. Россию нужно добить, чтобы она никогда более не поднималась ни под каким видом и ни под каким именем: “Карфаген должен быть разрушен!”. В рамках такого видения событий применение против “послесоветской” (или “посткоммунистической”) России *того же самого* оружия, с помощью которого Советский Союз был низпровергнут, вполне ожидаемо. Удивляться тут нечему.

Но верно ли то, что это оружие, оружие психологической войны, столь неотразимо? По моему не только мнению, но и убеждению, это далеко не так. Важнейшим компонентом психологической войны вообще и каждой из её операций в частности является, как известно, суггестия – *внушение*. Борьба с этим видом психологической агрессии предполагает разоблачение как *симулякров* (“изображений без оригиналов”) – тех лживых образов, что внедряются в сознание, так и мошеннических “технологий” их внедрения. В том, что такая борьба может быть – и в действительности бывает – успешной, представлю читателю удостовериться самому на двух конкретных примерах.

Первый из них заимствован у нашего соотечественника, Юрия Болдырева, ныне блистательного колумниста “Литературной газеты”:

“Сейчас в связи с годовщиной начала Второй мировой войны на Западе развёрнута кампания по пересмотру истоков и причин этой трагедии. Многие ответы на это есть в наших СМИ и выступлениях руководителей государства. Но есть и что к этому добавить.

Первое. Злодеяния бывают чудовищными, зачастую независимо от того, к какой идеологии они привязаны или какой идеологией они прикрываются. Но есть идеологии и идеологии.

Одни – изначально направлены на исключение, нивелирование, смягчение проявлений худших черт человеческой природы, на равноправное сотрудничество, созидание и развитие.

Другие – базируются на худших чертах человеческой природы и взывают к ним. Они ориентированы не только на подавление несогласия и идеологической альтернативы... но и, как на цель, на уничтожение или полное подчинение (вплоть до обоснования рабства) других народов.

Так к одной ли категории по этим критериям относятся идеологии коммунизма и национал-социализма? Разумеется, нет.

Принципиальная разница в том, что коммунистическая идеология, если коротко, основана на попытке найти средство против стяжательства и закабаления с его помощью меньшинством людей абсолютного большинства. И даже в своих крайних проявлениях (диктатура пролетариата) эта идеология никогда не делила людей по крови на высшие и низшие расы. Тем более не осуществляла геноцид по этому признаку. И это – не вопрос лицемерия. Совсем простой пример: можно ли себе даже представить, чтобы на фуражках или пилотках красноармейцев были, как в некоторых частях нацистской армии, череп и кости? Невозможно.

И потому, не являясь коммунистом, тем не менее должен заметить, как нельзя ставить знак равенства между религией и инквизицией, точно так же нельзя ставить знак равенства между коммунистическими идеями и той или иной практикой их реализации. Тем более на ограниченном промежутке исторического времени. И, осуждая злодеяния сталинского режима, ни в коем случае нельзя ставить его на одну доску с режимом гитлеровским – при всём ужасе от использованных методов. ...Идеи и цели, лежавшие в основе, были противоположны.

Второе. А ведь по этому признаку сталинский режим (при всех его преступлениях) тем не менее выгодно отличался и от некоторых европейских демократий того времени. Да, британский и французский режимы были тогда более гуманными по отношению к своим гражданам, точнее, к гражданам метрополий. Но почему арабы в Египте встречали немцев как освободителей? Не понимали ценностей

британской демократии? Нет, просто жители колоний демократических европейских держав были вторым, третьим, а то и пятым сортом, и именно по признаку крови — это-то почему мы должны забывать?

И тогда вопрос: Вторая мировая война началась лишь потому, что в Европе что-то решили переделывать? Или же переделу подлежали ещё и многочисленные азиатские и африканские колонии демократий? Так почему же гуманные европейцы, собравшиеся ныне в Польше на годовщину начала войны, друг перед другом извинялись, нам на то, что мы не принесли Восточной Европе свободы, попеняли, но перед остальным миром (семь десятилетий назад сплошь колониальным) извиниться и не подумали? Значит, СССР не принёс Польше и Чехословакии свободы, а Британия её египетским арабам принесла?²⁴.

Второй пример взят из упомянутой выше книги “Европейский фашизм в сравнении, 1922—1982”. Её автор, видный немецкий политолог В. Випперман, констатировал, что “общая допустимость сравнения коммунизма и национал-социализма теперь уже почти не оспаривается”, тем не менее, оспорил её, эту “общую допустимость”, причём, на мой взгляд, вполне убедительно:

“...различия между фашистскими и коммунистическими движениями и режимами ещё больше, чем между отдельными видами фашизма. Коммунистические и фашистские партии преследовали различные цели и привели к различным общественным системам. Черты сходства в практике власти (но не в структуре власти) недостаточны для того, чтобы почти отождествлять фашизм и коммунизм”²⁵.

“Буржуазным критикам общего понятия фашизма надо напомнить предупреждение... что о фашизме (соответственно, о национал-социализме) следует молчать, если вы не готовы говорить о капитализме, т. е. об общих, не ограниченных отдельными капиталистическими странами (Германия, Италия и т. д.) причинах фашизма. Впрочем, это не означает... что одним этим подходом можно объяснить сущность и возникновение фашизма, который... имеет более глубокие корни, чем капитализм”²⁶.

“Тоталитаризм”, подобно “фашизму”, имеет двойственный характер. Он был и остаётся не только термином научной теории, но и политическим лозунгом. Но теория может быть оправдана лишь сравнением с опытом, а в этом отношении смешение понятий фашизма и тоталитаризма обнаруживает свои слабости. Так, все теоретики тоталитаризма недооценивают значение расизма в фашистской идеологии. Отождествляя фашистскую идеологию с марксистской, они упускают из виду, что при фашистских и коммунистических режимах террор был направлен против различных групп населения — фашистское расовое убийство отличается от большевистского классового убийства. Это важнейший критический довод.

Кроме того, наиболее известная модель тоталитаризма, принадлежащая Карлу Иоахиму Фридриху и Збигневу Бжезинскому, носит упрощённый типизированный и статический характер. ... (Она) страдает и другими недостатками. Например, не могло быть и речи о том, чтобы в фашистской Германии существовала “командная экономика”, сравнимая с советской; в фашистских государствах, в отличие от коммунистических, экономика не стала государственной. Неверным оказался и тезис, по которому во главе тоталитарных и монолитно замкнутых однопартийных режимов стоит всемогущий “вождь”. “Третий рейх” имел скорее некоторый поликратический характер*. Есть также определённые признаки, что и власть Сталина не была безгранична.

Мы не будем здесь подробнее касаться прочих теорий тоталитаризма... Заметим только, что классические теории тоталитаризма оказались не в состоянии объяснить историческую действительность, а потому никоим образом не превосходят теорий фашизма.

* Поликратия — многовластие (Ф. Н.).

Приведём последний аргумент. Правомерность общего понятия фашизма, как мы подробнее рассмотрим ниже, оспаривается, главным образом, на том основании, что различия между фашистскими движениями существеннее их сходства. Если бы это утверждение было справедливо (а в действительности это не так!), то оно ещё в большей степени относилось бы к общему понятию тоталитаризма. В самом деле, различия между коммунистическими и фашистскими партиями или режимами много существеннее, чем между фашистскими²⁷.

Вопрос о том, какие различия – существенны, а какие – нет, какие существенные различия более существенны, а какие – менее, и по каким критериям надобно степень их существенности оценивать – это и есть “вопрос вопросов” всякой классификации, всякой типологии вообще (вспомнить хотя бы предысторию гениальной догадки, приведшей к открытию Периодического закона химических элементов).

Теория фашизма вопрос этот пусть только частично но всё же решила – открыв общую субстанцию всего “куста” рассматриваемых ею феноменов. Субстанция эта – расизм. Наличие или отсутствие расизма у схожих в каком-либо другом отношении феноменов служит для неё критерием при определении их качества и различении между фашизмом и любым “не-фашизмом”. Отсюда, далее, следует возможность сопоставления и различения между отдельными побегами одного и того же куста, а также и демонстрация того факта, что они принадлежат, несмотря на все различия, всё-таки к одному и тому же “кусту”. Один простой пример:

“История, структуры, программы и политическая практика НСДАП*, наряду с идеологией, также в известной мере напоминают её итальянский прообраз. . . . Но в центре (её) программы стоял антисемитизм, составлявший в некотором роде общую рамку националистических, антикапиталистических и антисоциалистических требований. . . . Этот антисемитизм, мотивируемый прежде всего, но не исключительно, расистской идеологией, с самого начала отличает национал-социалистов от итальянских фашистов²⁸. “Итальянские фашисты, в рядах которых, во всяком случае в раннем периоде, были также лица еврейского происхождения, не убили ни одного еврея. Проповедуемый Муссолини “расизм” не имел биологической окраски^{29**}”.

Проведённое Випперманом сравнение состоит, как легко убедиться, из четырёх шагов: от сходства нацистской партии (в истории, структурах, программах и политической практике) с её “итальянским прообразом” к различию между ними (наличие антисемитизма в программе и политической практике НСДАП и его отсутствие как в программе, так и в практике итальянских фашистов), от различия снова к сходству (и там, и там – расизм), а от сходства опять к различию (но расизм – разного окраса и, главное, разной “крепости”). Такой ход рассуждения типичен как для всей книги “Европейский фашизм в сравнении” в целом, так и вообще для любого приложения сравнительного метода в широком круге гуманитарных, да и не только гуманитарных дисциплин.

Сторонники тоталитарной теории тоже постоянно заняты сравнением, но их компаративистика принципиально отличается от той, действие которой показано выше. Её цель не постепенное, шаг за шагом, выявление истины,

* НСДАП – Национал-социалистическая рабочая партия Германии.

** Видовое различие в пределах родового единства выразилось, помимо прочего, в том, что мишенями двух расизмов, германского и итальянского, оказались частично одни и те же, а частично разные этносы. Объектом травли итальянских фашистов были национальные меньшинства, объявленные “врагами Италии”, – немцы в Южном Тироле (до сближения между собой в 1936 г. двух фашистских государств) и славяне (главным образом, словенцы) в Истрии с Триестом, а также – цыгане, рассеянные по всей стране. В Третьем рейхе в очередь на “окончательное решение” их “вопроса” прямо “в затылок” евреям встали цыгане, а с 1939 года – поляки. . . . В Италии ни одно из этнических меньшинств, испытанных при фашистском режиме дискриминацию и унижения, истреблению не подверглось.

а доказательство некоего тезиса, поставленного перед исследованием ещё до его начала. А потому цикл дискурса никогда не бывает полным и никогда не перерастает в спираль (сходство–различие–сходство...). Сравнение обрывается сразу же после первого шага. Если, к примеру, Россия сопоставляется с Европой или фашизм – с парламентской демократией, то содержанием мыслительной операции будет фиксация всего лишь различий, а её конечным результатом – переход сопоставления в абсолютное противопоставление. Если же Россия сопоставляется не с Европой, а с Азией (и вообще с не-Западом), а фашизм – не с парламентской демократией, а с “коммунизмом”, то жирным курсивом выделяются черты всего лишь сходства; что до различий, то они размываются. В конечном счёте, сопоставление оборачивается отождествлением.

Справедливо ли искусство ретуши возводить в ранг научной теории? Справедливо ли пропагандистское клише “тоталитаризм” возводить в ранг научного термина? На мой взгляд, такое словоупотребление не только не соответствует истине, но и влечёт за собой поощрение самого наглого политического шарлатанства.

Но... пора подводить черту

Под очерком, разумеется. Подведение же итогов предполагает возврат к его началу, а затем – мысленную пробежку по однажды пройденному пути.

Итак, что же нам удалось выявить и чего не удалось? Какие выявленные вопросы получили решение? И какие – нет?

Очерк открывается подборкой признаний государственных мужей Великобритании и Соединённых Штатов в том, что они никак не могут взять в толк, что такое Россия и каких сюрпризов следует от неё ждать. Подборка не велика, что не мешает ей быть в высшей степени сенсационной. В состоянии ли вы представить себе дельфийскую пифию, которая отказывается под разными предложениями усестись на своей треножничке? Государственные мужи, прозорливцы и провидцы *ex professo*, ни в коем случае не должны признаваться в своей некомпетентности – ведь над ними постоянно нависает угроза дисквалификации. Не должны, а тем не менее признаются, причём не по принуждению, а по собственной доброй воле. Но нужно ли нам признания эти принимать всерьёз?

Последний вопрос вызывает в памяти скрытую полемику между А. И. Герценом, Ф. М. Достоевским и Н. Я. Данилевским. Дело было так:

В 1868 г. Александр Иванович, будучи в эмиграции, сделал следующее наблюдение за европейским общественным мнением касательно России:

“Страх перед Россией... возрождается с новой силой... Готовы... стать на страже “спасения цивилизации”, находящейся под угрозой, и отбросить будущих Аттил и Аларихов за Волгу и Урал. ... Советуют всем государствам образовать священную лигу военного депотизма против империи царей.

Пишутся книги, статьи, брошюры по-французски, по-немецки, по-английски, произносятся речи, оттачивается оружие... и единственно о чём не думают: о *серьёзном изучении России* (курсив Герцена. – **Ф. Н.**). Ограничиваются жаром, пылом, подъёмом чувств. Полагают, что тот, кто жалеет Польшу, тот знает Россию.

... Такое положение вещей может повлечь за собой серьёзные последствия, великие ошибки и великие несчастья, – не говоря уже о весьма реальном несчастье: находиться в полном заблуждении”³⁰.

В той же статье (“Пролегомена”) Искандер отмечал: “...изумительную настойчивость, с какую не желают видеть в России ничего, кроме её отрицательных сторон, – настойчивость, с какую в одних и тех же выражениях осыпают оскорблениями и предают проклятью прогресс и реакцию, будущее и

* Напомню высказывание Виппермана: “Тоталитаризм”, подобно “фашизму”, имеет двойственный характер. Он был и остаётся не только термином научной теории, но и политическим лозунгом”.

настоящее, то, что разлагается, и то, что нарождается”³¹. “Прогресс” и “реакция”, базовые категории либерально-демократической идеологии, как видим, – на своём месте: Герцен, очевидно, мыслил ими. Но способность за Россию обижаться – черта вовсе не либеральная (в чём мы успели убедиться многократно). А потому несомненное сочетание в данном случае русского патриотизма с либерализмом уже по своей исключительности заслуживает внимания. Может ли либерал быть русским патриотом? Может ли русский патриот быть либералом? Ответ далеко не очевиден. Но это – к слову.

Для нас сейчас куда важнее сближение позиций “прогрессивного” Герцена с “реакционным” Достоевским как раз по вопросу о том, как в их эпоху Россия виделась Западу. Пять лет спустя (1873) после публикации “Пролегомены” Федор Михайлович писал:

“Если есть на свете страна, которая была бы для других, отдалённых или сопредельных с нею стран более неизвестною, неисследованною, более всех других стран непонятою и непонятною, то эта страна есть бесспорно Россия для западных соседей своих. Никакой Китай, никакая Япония не могут быть покрыты такой тайной для европейской пытливости, как Россия, прежде, в настоящую минуту и даже, может быть, ещё очень долго в будущем. Мы не преувеличиваем, Китай и Япония, во-первых, слишком далеки от Европы, а во-вторых, и доступ туда иногда очень труден; Россия же вся открыта перед Европою, русские держат себя совершенно нараспашку перед европейцами, а между тем характер русского, может быть, даже ещё слабее обрисован в сознании европейца, чем характер китайца или японца. Для Европы Россия – одна из загадок Сфинкса.

... Когда дело доходит до России, какое-то необыкновенное тупоумие нападает на тех самых людей, которые выдумали порох и сочли столько звёзд на небе, что даже уверились, наконец, что могут их и хватать с неба”³².

Итак, вопрос о возможности познания Западом России был поставлен русскими ещё в XIX веке. Позиции Герцена и Достоевского по нему близки, но всё-таки не совпадают. Различие – в том, что Искандер, констатировав как факт невежество европейцев, усматривал его причину в отсутствии “серьёзного изучения России”. Иначе говоря, перед нами типично “просветительский” подход: довольно открыть людям Запада глаза на действительное положение в России, чтобы исчезло наваждение страха перед нею. Он и попытался Европу просветить, наладив в Лондоне и в Женеве издание “Колокола” на французском языке, издание, приспособленное по своим материалам и по своему стилю к уровню понимания и к вкусам европейской читательской публики. Оно продержалось всего год из-за полного отсутствия к нему читательского интереса.

Удовлетворительно ли объяснение Герценом враждебности Европы к России (“старческое упрямство, отворачивающееся от истины из-за умственной усталости”)? На мой взгляд, оно наивно и заставляет вспомнить старую истину “сравнение не довод”. Не в старости Европы и не в крайней молодости будто бы только-только рождавшейся “новой” России было дело. И очень наивно поведение Искандера, наивна его затея с изданием “Колокола” на французском языке. Ему всё казалось, что между Западом и Россией (Россией, понятно, *прогрессивной*, – той, что только-только рождается) существует некое недоразумение, которое можно и должно устранить. И очень ему хотелось преодолеть это “старческое упрямство”, дозвониться своим “Колоколом” сквозь старческую глухоту, разъяснить, как хороша Россия “неправительственная”. “Колокол” вроде бы расслышали, после чего сильнее зажали уши. Почти год спустя после выхода первого номера “KoloKol” (в котором “Пролегомена” была опубликована) Герцен в открытом письме Огареву на страницах того же издания, то есть в письме, предназначенном вниманию “франкочитающей” публики, с горечью писал:

“Бернский конгресс мира показал ещё раз, что голос русских, вообще говоря, не слишком уместен на семейных концертах Запада. Мы смущаем их, мы им неприятны своей неуклюжей правдивостью, нам присущи бестактность варваров и логика, неумолимая и дерзкая. Мы

так долго молчали, порабощённые грубой силой, что начинаем говорить лишнее, едва вообразим себя свободными. Есть вещи, которых наши старшие братья, умудрённые опытом, касаются только *sub rosa*^{*}, отдалёнными намёками, изукрашенными листьями аканта и виноградными лозами^{**}, — мы же готовы кричать об этом во всеуслышанье. Это возмущает, и они отворачиваются от наших прямых речей.

В момент, когда люди поглощены попытками сформулировать теорию мира и заняты усиленной подготовкой к войне, — мы перестанем звонить в “Колокол”, и это пройдёт незамеченным”³³.

Выходит, “диалог цивилизаций” сорвался из-за недостатка политкорректности у одной из сторон, которая, оказавшись на Западе, *вообразила* себя свободной от необходимости в некоторых случаях прибегать к эвфемизмам? Пускай после этого русских варваров с их правдивостью на “семейные концерты Запада”!

Почти наверняка русская образованная публика заметила и запомнила, что “Колокол” перестал звонить по-французски. Так что наличие связи между “Пролегоменой” Герцена и статьей Достоевского вполне правдоподобно. И оно ещё более вероятно относительно “России и Европы” Н. Я. Данилевского. Ни Достоевский, ни Данилевский не вели и не могли вести с Искандером прямой полемики по двум причинам (хотя хватило бы и одной): цензурные ограничения и смерть (1870) Герцена. Но косвенная, без упоминания оппонента по имени, на одной из страниц “России и Европы”, по-моему, вполне очевидна:

“Ещё в моде у нас относить всё к незнанию Европы, к её невежеству относительно России. Наша пресса молчит, или, по крайней мере, до недавнего времени молчала, а враги на нас клеветуют. Где же бедной Европе узнать истину? Она отуманена, сбита с толку. *Risum teneatis, amici*, или, по-русски — курам на смех, друзья мои. Почему же Европа, которая всё знает, от санскритского языка до ирокезских наречий, от законов движения сложных систем звёзд до строения микроскопических организмов, не знает одной только России? Разве это какой-нибудь Гейс-Грейц, Шлейц и Лобенштейн, не стоящий того, чтобы она обратила на него своё просвещённое внимание? Смешны эти оправдания мудрой, как змий, Европы — её незнанием, наивностью и легковерием, точно будто об институтке дело идёт. Европа не знает, потому что не хочет знать, или, лучше сказать, знает так, как знать хочет, то есть как соответствует её предвзятым мнениям, страстям, гордости, ненависти и презрению. Смешны эти ухаживания за иностранцами с целью показать им Русь лицом, а через их посредство просветить и заставить прозреть заблуждающееся и ослеплённое общественное мнение Европы”³⁴.

То, что вызывает страх, обычно служит источником любознательности по отношению к его причине. Если опасность реальна — “врага надо знать”. Если она мнима — тем лучше, но в её нереальности всё же очень стоит удостовериться. Сочетание же страха Запада перед Россией с его неосведомлённостью по отношению к ней же производило на русских людей тяжёлое впечатление как некоей психической аномалии, если не сказать — патологии. Выше было приведено тройное и неоднозначное толкование этой странной неосведомлённости — Герцена, Данилевского и Достоевского. Этот “треугольник мнений” и послужил отправной базой для настоящего очерка.

Итак, нужно ли принимать за чистую монету признания шести политических лидеров Великобритании и Соединённых Штатов в их некомпетентности касательно России, русских, “русского вопроса”? С этого мы наше исследование начали и после недолгих размышлений пришли к тому выводу, что, хотя чистосердечие и не входит в первую десятку обязательных для политика добродетелей, заявлениям этим верить всё же лучше, чем не верить. Уже по той причине, что причин для недоверия не обнаружено.

* под секретом (лат.).

** В этом контексте “листья аканта и виноградные лозы” синонимичны “фиговому листу”.

Обозначив слегка приоткрытый феномен термином “ментальный агностицизм” или “агностицизм менталитета” (чтобы фиксировать отличие от “агностицизма философского”), мы приступили к его, так сказать, “прощупыванию”. Пальпация оказалась успешной: удалось выявить двойственную природу умонастроений самых высокопоставленных государственных деятелей. Умонастроение простых смертных – их личное дело. Умонастроение президента страны или премьер-министра (это – к примеру) есть его личное дело плюс дело государственное. Соответственно, оно складывается из его личного мировоззрения и взгляда на ту или иную проблему и из мировоззрения и взгляда на ту же проблему его экспертов. Таким образом, поле нашего зрения должно быть расширено, чтобы не упустить из виду важный фактор экспертизы.

Следующим звеном в цепи дискурса стало более пристальное рассмотрение тандема “государственная политика – экспертное сообщество” в интервью между окончанием Второй мировой войны и гибелью Советского Союза. То было время холодной и официально признанной как факт (но всё же официально не объявленной) психологической войны. И время мобилизации университетско-академического комплекса на нужды этой двойной войны. И время советологии...

Первую ненадолго ретроспективный обзор ради запоздалой иллюстрации того поразительного факта, что в одном и том же русле, в русле советологии, прокладывали себе путь не только разные, но и прямо противоположные, взаимоисключающие по смыслу и по эмоциональной окраске течения. Вот как, к примеру, представлял себе и своим читателям Россию английский советолог Райт Миллер:

“В самом деле, Россия – страна уникальная. Она была единственной в своём роде и до 1917 года. Россия, вместе с тем, ещё и европейская страна. И она всегда была таковой – страной с ярко выраженными христианскими традициями монотеизма и антропоцентризма. Её культурная жизнь складывалась и развивалась, пусть с запинками и задержками, но – по обычным для Европы моделям. Однако она не может быть поставлена в один ряд с другими европейскими странами по единственной причине: любая из них слишком мала, чтобы идти в сравнение с нею. Её трудности (*its problems*) – это, в основном, трудности любой очень большой страны, открытой на всех своих рубежах вторжениям извне. Однако они в значительной степени уравновешивались тем обстоятельством, что, несмотря на всю свою непомерную величину, Россия оставалась, в основном, страной в высшей степени однородной по своим чувствам (*in feeling*) и по традиции, а также – страной с высокой степенью централизации в управлении...”³⁵.

А вот та же “эта страна” в ретроспективном изображении другого советолога, тоже англичанина:

“На деле имелись нити интимной близости, связывавшие монголов с русскими, особенно с русским высшим классом. В XV в. Московский двор (Великого князя. – Ф. Н.) говорил по-тюркски (*sproke Turkish*), а к концу XVII в. монголы составляли до семидесяти процентов от всей московской аристократии. Это монгольская традиция была положена в основание царской державы, которая возникла в XVI в. и расширялась в течение примерно четырёх последовавших столетий. Корни жестокости, обычно ассоциируемой с русским образом жизни, уходят, быть может, к монголам. Русские с особым удовольствием проявляли её в отношении своих преступников: пытки, бичевание, причинение увечий – стали “общим местом” в русской жизни; лишитья носов, ушей, конечностей для осуждённых было самым обычным делом. Колесование, сажание на кол, четвертование, наказание кнутом до смерти и сожжение живьём (наказание для еретиков и колдунов) применялось несколько реже.

Но, помимо этого и с другой стороны, монголы остались для русских предметом восхищения в области искусства – что, может быть, символично ещё в большей степени. В противовес общему чувству ненависти к угнетателям и параллельно ему длилась противоположная традиция – традиция восхищения монгольским рыцарством”³⁶.

Американский советолог Джон Радзински (возьмём для разнообразия американца) вторит англичанину: “Интересное совпадение: Московский Кремль – самое известное и наиболее почитаемое место в современной России – изначально был татарской крепостью. Эта твердыня пережила века, чтобы стать символом, связавшим воедино Татарскую, Царскую и Коммунистическую Россию”³⁷. Ну что на всё это скажешь? Не спрашивать же у них, из каких источников почерпнуты приводимые ими исторические сенсации? Ссылки на источники в той среде, к которой принадлежат два последних из трёх цитируемых здесь авторов, считаются признаком дурного тона. Ловить их за руку, как ловят карманников и мошенников? Фи! ... По существу же затронутого сюжета уже сказано всё, что надо и как надо. Нам остаётся только повторить за Искандером:

“Наши храбрые враги даже не знают, что мы очень мало уязвимы с этой стороны. Мы выше зоологической щепетильности и совершенно безразличны к вопросу о расовой чистоте, что не мешает нам быть вполне славянами. Мы очень довольны, что в наших жилах есть и финская и монгольская кровь; это ставит нас в родственные и братские отношения с теми расами-париями, о которых гуманная демократия Европы не может говорить иначе, как тоном оскорбительного презрения. Точно так же мы не сетуем на примесь туранского элемента. ...

Нас изгоняют из Европы, как Господь Бог изгнал из рая Адама. Но твёрдо ли вы уверены, что мы принимаем Европу за рай и титул европейца – за почётный титул? Думая так, иногда серьёзно ошибаются. Мы не краснеем от того, что мы из Азии, и не чувствуем потребности присоединиться к кому-нибудь справа или слева. Мы доведем сами себе, мы – *часть мира между Америкой и Европой*, и этого с нас довольно (курсив – Герцена. – **Ф. Н.**)”³⁸.

Внесу одно принципиально важное, на мой взгляд, уточнение: те два течения, что в равной мере обозначались как “советология”, не имеют между собой ничего общего по сути своей. Так, скажем, Марк Раев и Ричард Пайпс учились и преподавали в одних и тех же университетах – Гарвардском и Стэнфордском, возможно, встречались на заседаниях одних и тех кафедр. Но эта “совместность” всё же несколько не меняет того факта, что Раев – подлинный учёный, равно как и многие другие советоведы (русисты), между тем как Пайпс вовсе не учёный, как и великое множество подобных ему... деятелей. Американская, британская и пр. русистика имеет большие заслуги перед наукой. Но эта та, что трудится ради постижения объективной истины, а не та, что выполняла и выполняет заказы вашингтонского агитпропа.

Если мне удалось это показать – значит, очерк написан не зря. Впрочем, он поднял больше новых вопросов, чем ответил на старые.

Какое воздействие на внешнюю политику стран Запада оказывал по отношению к России и оказывает *симулякр* русистики? Как она обходилась ранее без опоры на экспертное сообщество? Можно ли все “странности” западной политики *versus* Советский Союз объяснить исключительно сращиванием экспертного сообщества с персоналом, специализированным на ведении психологической войны?

На последний вопрос могу ответить немедленно: точно такие же “странности” наблюдались и в дореволюционную эпоху, то есть тогда, когда Россия была ещё царской. Мы, наверное, запомнили отзыв Остина Чемберлена о Советской России в 1925 г.? На всякий случай всё же частично повторю: “Сегодня... она нависла, как грозовая туча, над восточным горизонтом Европы – угрожающая, не поддающаяся учёту и, прежде всего, обособленная (выделено мной. – **Ф. Н.**)”. А теперь обратимся к “России и Европе” Данилевского (изд. 1871): “Взгляните на карту, – говорил мне один иностранец, – разве мы можем не чувствовать, что Россия давит на нас своею массой, как нависшая туча, как какой-то грозный кошмар?” Да, ландкартное давление действительно существует, но где же оно на деле, чем и когда выражалось?”³⁹.

Замечательный русский политолог имел дело со множеством проявлений *русифобии*. “Ландкартное давление” – одно из них. Так что если мы пожелаем распутать клубок западных “странностей” в XX–XXI вв., нам придётся вернуться к её истокам.

Примечания

1. Цит. по: История дипломатии под ред. В. М. Потёмкина, том III, М.-Л., 1945, с. 320–321.
2. Macmillan Harold. *Tides of Fortune, 1945–1955*. L., 1969, p. 104.
3. Dallin A. *Bias and blunders in American studies on the USSR*. – “Slavic Review”, 1973, vol. 32, № 3, p. 561.
4. Deutscher I. *Stalin. A political biography*. Second ed. Oxford University press. N. Y., 1974, p. 505.
5. Dallin A. *Op. cit.*, p. 562. Автор, приведя высказывание Хэмфри, сослался на следующий источник: “Address at the annual dinner of the American council of learned societies. Wash., Jan. 20, 1966, vol. 17, № 1–2, p. 10”.
6. Цит. по: Зубок Л. И., Яковлев Н. Н. *Новейшая история США*. М., 1972, с. 300.
7. Яковлев Н. Н. *Силуэты Вашингтона*. М., 1983, с. 254–255.
8. Lavigne M. *L'URSS et les pays de l'Est vues de l'Ouest*. – “Monde diplomatique”, Paris, 1974, а. 21, № 248, p. 10.
9. Тишков В. А. *История и историки в США*. М., 1985, с. 44.
10. Там же, с. 433–434.
11. Raeff Marc. *Comprendre l'Ancien regime russe (Etat et societe en Russie imperiale)*. Paris, 1982, p. 9.
12. Dallin A. *Op. cit.*, p. 561–576.
13. Raeff Marc. *Op. cit.*, p. 10.
14. Вяземский П. А. *Записные книжки (1813–1848)*. М., 1963, с. 334.
15. Blackstock Paul W. *The Strategy of Subversion*. Chicago. 1964, p. 49.
16. Пайпс Р. *Россия при старом режиме*. Кембридж, Массачусетс, 1980, с. XIII–XIV.
17. Там же, с. 29.
18. Там же, с. 29–30.
19. Там же, с. 30.
20. Там же, с. 26.
21. Там же.
22. Там же, с. XIII.
23. Випперман В. *Европейский фашизм в сравнении, 1922–1982*. Перевод с немецкого А. И. Фёдорова. Новосибирск, 2000, с. 187.
24. Болдырев Ю. *Вопросы к годовщинам трагедий*. – “Литературная газета” 9–15 сентября 2009 г.
25. Випперман В. *Указ. соч.*, с. 17.
26. Там же, с. 18.
27. Там же, с. 185–186.
28. Там же, с. 40.
29. Там же, с. 35.
30. Герцен А. И. *Соч. в 9-ти т.* – М., 1958, т. 8. с. 318–319.
31. Там же, с. 318.
32. Достоевский Ф. М. *Полн. собр. соч.*, т. 9, ч. 1, С.-Петербург, 1895, с. 5–6.
33. Герцен А. И. *Соч. в 9-ти т.* М., 1958, т. 8, с. 367.
34. Данилевский Н. Я. *Россия и Европа*. М., 1991 (по изданию 1871), с. 50.
35. Miller Wright. *Who are the Russians? A history of the Russian people*. L., 1973, p. 13.
36. Carmickel J. *A cultural history of Russia*. L., 1968, p. 45.
37. Radzinski J. M. *Masks of Moscow*. Chicago, 1960, p. 5.
38. Герцен А. И. *Соч. в 9-ти т.* М., 1958, т. 8, с. 321–322.
39. Данилевский Н. Я. *Указ. соч.*, с. 23.